Русская
зарубежная
поэзия
– 5 –

Олег Ильинский

СТИХИ

«Посев»
1960

ОЛЕГ ИЛЬИНСКИЙ

СТИХИ

«ПОСЕВ»
1960

Druck: Possev-Verlag, V. Gorachek KG., Frankfurt/Main

ПОЭТ ОЛЕГ ИЛЬИНСКИЙ

Предисловие к сборнику стихов — не критическая статья. Оно скорее — «добро пожаловать» читателю, нечто вроде двери на вернисаж, распахнутой перед посетителями экскурсоводом.

Сказать «добро пожаловать» самому поэту, приветствуя его первую книгу, мы опоздали намного, то есть запоздала книга: стихотворений с датой «1948—1950» уже в свое время достало бы на отдельное издание. Автору, правда, было тогда не больше восемнадцати, но годами измеряется мастерство, не талант. Талантливы же юношеские стихи Олега Ильинского (их первый крупный цикл был напечатан в №10 журнала «Грани» за 1950 г.) были на удивление. Свое первое от них — еще до напечатания — впечатление хочется вспомнить.

Встретились мы с автором летом 1949 года — он приехал в деревню, где я жил. Представился, сказал, что хотел бы почитать свои стихи. Теперь, задним числом, не смущаюсь признаться: не предложил гостю в дом, усадил на скамейке перед палисадником: так, думал я, легче будет переключиться на что-либо другое, подручное (природу, например), если стихи окажутся слабыми.

Но стихи оказались настоящими, каких, особенн в авторском чтении, давным-давно не слыхал. За няли они у нас, помнится, весь остаток дня и вече до последнего обратного поезда. Поразило меня них восторженно-чуткое ощущение жизни и непо средственность, яркая и стремительная, с которо это ощущение поэтически выражалось:

Я, кажется, руки расставив, кинусь
Навстречу соборам и куполам,
Навстречу паломникам, капуцинам,
Навстречу веселым колоколам.
А вечером, поздно вернувшись в номер,
Стараюсь с налета швырнуть в блокнот
Весь этот сумбур площадей и кровель,
И этих церквей готический взлет.
Весь город. Весь улей. Чтоб было живо,
Чтоб сразу свалить наболевший груз,
Чтоб слышался запах горького пива,
Чтоб булки французской был ясен вкус.

(«Альтеттинг»)

Было в этих стихах какое-то свежее и обаятель ное раскрытие творческого единства: *видения* и отклика, *прикосновения* и поэтического порыва

Хотелось до конца мои тетради
Наполнить солнцем пополам с дождем.

(«Каникулы»)

Я отметил про себя тогда — и продолжаю считать и поныне, — что в поэтическом, я бы сказал, разоб

лечении этого единства и лежит своеобразие поэтики О. Ильинского.

В последовавшее за этой нашей встречей десятилетие О. Ильинский довольно часто, хоть и не обильно, печатал стихи в разных периодических изданиях. Новые темы в них? Формальные поиски? Рост мастерства? Пусть, прочтя сборник, займется этими вопросами кто-либо из наших поэтических критиков. Мне же хотелось бы только отметить, что биографически Олег Ильинский среди поэтов так называемой новой эмиграции занимает особое место: из России он выехал мальчиком, — значит, не увез ее в себе ни как «поэтическую действительность», ни как бытийный контраст, основу многих творческих воплощений. Нет у него поэтому темы «родина» в обычных у нас здесь чаще всего ностальгических или мемуарно-эпигонских интерпретациях; русского поэтического цеха «языкотворец», он обречен слушать и разглядывать течение жизни «меж чужих берегов». Трагично это лишь в случае, если ощущается как трагедия самим пишущим. В стихах Ильинского такого ощущения не проявилось — и слава Богу: оно вряд ли было бы поэтически ему органичным. А восторженно-жадное наблюдение жизни остается. Диапазон его увеличивается, оно становится глубже, осложняется раздумьем; в привычно-радостную гармонию красок вплетается иногда скорбный житейский диссонанс (см., например, «Готический город»). Отклики на отвлеченное, либо на событие («Это сражается Будапешт», «Похищение») нечасты, больше — на непосредственное, живое и го-

рячее, прикосновение. Круг «прикосновений» ширится: музыка («Форель» Шуберта), живопись и скульптура («Коро», «Микеланджело»), здания, улицы, площади, гавани, любовная романтика («Письмо», напр.) и природа, природа, природа . . .

В теме природы («Открыть окно», «Осень через бинокль» и др.) склад поэтики О. Ильинского раскрывается, пожалуй, отчетливее всего, равно как и наиболее яркая ее примета: зрительная подробность, деталь, как зерно поэтического выражения. Эта «сквозная» примета-прием, источник лирической экспрессии, пластичности и тепла многих стихотворных строчек сборника, возмещает иной раз некоторую мозаичность или несобранность целого, создает великолепные фрагменты в таких, например, сложных композициях, как заключающее сборник «Письмо из Равенны», или удачи вроде «Подарил чашку» (стр. 75). У самого автора признание в приверженности к подробности-впечатлению выражено так:

> Проходишь топким берегом реки
> И дышишь ветром, и живешь деталью:
> Бугристой веткой, цветом облаков . . .
>
> (стр. 45)

Хорошо это? Значимо ли в поэтическом творчестве? Пусть и на этот вопрос, может быть, дадут ответ теоретики-специалисты. Мне лично всегда казалось, что всего подлинно поэтического такая проблематика мало касается. В какой мере «подлинно-поэтическое» есть категория субъективной оценки — вопрос иной.

Совпало так, что пишутся эти строчки в дни, когда радио (не русское!) сообщило о смерти Бориса Пастернака. Может быть под этим впечатлением, с особой пристальностью перечитываешь сборник Ильинского, где — не случайно — дважды встречается имя Пастернака, останавливаешься на некоторых по-пастернаковски цепких и смелых летучих образах или на такой, например, концовке:

Мелькнула жизнь, и так неважен атом
И ход планет в сравнении со смертью.
(«Учёный»)

Но дело не в сближениях и ассоциациях. Пастернаковское наследство стало для нас сейчас символом действительной, не декретированной, высокости творческого слова. И — критерием: Пастернак как бы заново очертил сферу истинно прекрасного искусства — искусства, поднимающего ценность творческой личности человека над условными мелкими ценностями, искусства, где подлинное не «предмет или сторона формы», но «таинственная и скрытая часть содержания». И читая теперь чьи-либо стихи или прозу, невольно в свете этого критерия за снизками слов и рифм, мельканием образов, поэтическими огрехами и поэтическими удачами автора — ищешь такого подлинного. Есть оно?

В книжке Олега Ильинского, как я ощущаю, оно налицо.

Л. Ржевский

ФАМУЛЮС

Ты в комнате душной бросишь науки,
Ты бросишь тетради в ящик стола,
Ты свежие ландыши в связке купишь
Случайно на площади у угла.
Мороженым будешь сыт за бесценок,
В душисто-сосновый ларек зайдя,
Под вечер тебя хлестнет непременно
Веселыми порциями дождя.
Пойдешь — будет с листьев, с деревьев капать,
С ограды к реке нагнется лоза,
Ты тихо наденешь мокрую шляпу,
Седые поля спустив на глаза.
За угол свернешь, перейдешь канаву,
Дождинки на куртку слетят дрожа,
Насупленный явится доктор Фауст
На лестнице пятого этажа.
Посадит на кресло с сиденьем пухлым,
Положит на ноги пушистый плед,
Приветливо шаркнут мягкие туфли,
Приветливо скрипнет старый паркет.
В окошко влетает пух от каштанов,
На улице шум городской затих,
Весенние сумерки нас застанут
Далеко ушедших по строчкам книг.

1949

АЛЬТЕТТИНГ

На завтрак одну французскую булку
Я солнечным пивом наспех запью.
Мне выдался день — сплошная прогулка,
Ничто не смущает радость мою.
Я кажется руки расставив кинусь
Навстречу соборам и куполам,
Навстречу паломникам, капуцинам,
Навстречу веселым колоколам.
А вечером, поздно вернувшись в номер,
Стараюсь с налета швырнуть в блокнот
Весь этот сумбур площадей и кровель,
И этих церквей готический взлет.
Весь город. Весь улей. Чтоб было живо,
Чтоб сразу свалить наболевший груз,
Чтоб слышался запах горького пива,
Чтоб булки французской был ясен хруст.

1949

КАНИКУЛЫ

Каникулы! Свобода три недели,
И, слава Богу, кончились дожди,
На улице к тому ж конец апреля,
А сколько дел казалось впереди.
Мой каждый шаг мне обещал удачу,
Вишневый цвет ловил я на плече,
По вечерам тогда я даже начал
Писать стихи о собственном плаще.
Хотелось до конца мои тетради
Наполнить солнцем пополам с дождем,
Всем скопом увлечений и занятий,
Чем я теперь, чем мы теперь живем.
Чтоб чаша переполнилась до края
Внести в тетрадь все мысли и дела,
И солнечную девушку в трамвае
На фоне запыленного стекла.
Случайно, в приключенческой отваге
Ее найдя и оценив вчера,
Хотел сегодня передать бумаге,
И приколоть на кончике пера,
Как бабочку премудрый энтомолог,
Чтоб грубым словом крыльев не помять,
Чтобы к моей коллекции веселой
Еще один прибавить экспонат.
Но видно я не справился с задачей —
Работая за совесть, не за страх,
Я целую тетрадь напастерначил,
Каникулы без толку потеряв.

1950

МАРТ

Март — это лужи в разгаре самом,
Март — это капли бьющие в жесть,
Март — это блеск распахнутой рамы
И перекличка двух этажей.
Март — это ветер, почки и вербы,
Как он пройдет — не увидишь сам.
В марте бы жить по секундомерам,
А не по этим старым часам.
Март, как рубеж, ожиданьем встретишь,
Ищешь небывшего до сих пор.
Ждешь, что душа, как гонщик на треке,
В жизни поставит новый рекорд.

1951

ДОЖДИК

О чем напишу я теперь наудачу?
О том ли как дождик над крышами скачет,
Пенясь подбираются лужи к крыльцу,
И мокрой черемухой бьет по лицу,
Как зонтики вдруг окрылили предместья,
Или как мы укрывались в подъезде?
Как град, зазвенев, забился о камень,
А ветер, рванув, завертел платками,
Деревьями, листьями, облаками,
Как вздулись ручьи в ноздреватой пене,
И мок на углу продавец сирени.
Эх, дождик, сильнее по яблоням целься!
Как знак восклицанья, стоит полицейский,
По уши укутанный мокрым плащом, —
Ему и гроза и дожди нипочем.
Как весело сыплет стеклянным горохом,
Крупною дробью грохочет у окон.
Ты глянешь в окошко остро и кратко,
Окинешь газоны, цветочную грядку,
Привычным движеньем возьмешь тетрадку,
Присядешь и вмиг передашь бумаге
Веселую песню весенней влаги.

1949

*   *
*

Вминаются ноги в мокрую глину,
Сиреневый куст от дождя поник,
И, словно ведро воды опрокинув,
Срываются капли на дождевик.
«Смотрите, как дождик по листьям строчит,
Я ноги давно уже вымочил вдрызг,
Паршивое лето нынче, а впрочем,
Мне нравится шорох стеклянных брызг.
Вы, верно, намокли? Холодно, вечер,
Мне куртки довольно, возьмите мой».
Бросаю мой плащ на узкие плечи,
На волосы, стянутые тесьмой.
Со смехом слетают капли с сирени,
Под желтым откосом бьется река,
И шаркает мокрый плащ по коленям,
И волосы ветер треплет слегка.
Сирень ударяет веткой по глазу,
Над речкою радужный мост повис.
Я слышал когда-то из старых сказок,
Что боги по радугам сходят вниз.

1949

В ГОРАХ

В эти две недели каникул
С вещевым мешком и биноклем
Ты, привыкший сидеть над книгами,
Вышел в Альпы к горным потокам.
Ты купил черешен в долине,
Ты пошел, расстегнувши ворот,
Ты случайно в старой гостинице
Повстречал двух попутчиц в горы.
Далеко внизу Берхтесгаден,
Здесь кустарник, уступы, камень,
Ты несказанно был обрадован
Этой встрече под облаками.
Вы играли в снежки в июле,
И, разбив привал у потока,
На альпийское солнце щурились,
На Монблан наводя бинокли.
Два часа карабкались рядом,
С одного гнезда стартовали,
И ресурсы все шоколадные
Уступил ты им, как товарищ.

1950

О. Р.

Ты на святость выдержишь экзамен,
Редкий дар судьба тебе дала —
Смотришь близорукими глазами,
И кругом себя не видишь зла.

1949

НОВЫЙ ГОД

Мне нынче скромный ужин послан,
Но все ж иллюзия дана:
Весь Новый Год как в микрокосме,
Как люстра в капельке вина.
Я, как герои Пастернака,
Прилежно чистил апельсин,
Хоть и единственный, однако,
Он свежесть в комнату вносил.
Когда куранты задрожали,
Весь город пробудив от сна,
Смеялась лампа, отражаясь
В бокале белого вина.
Пока смеялся темный город,
Звенел хрусталь и плавал дым,
Я пил с единственным партнером,
С висячим зеркалом моим.
Как видишь, можно веселиться
И одиночество храня —
Ведь ты, подняв бокал в столице,
Едва ли вспомнила меня.

1950

О ТОМ, ПОЧЕМУ НЕКТО БРОСИЛ ЗАНИМАТЬСЯ ФИЛОСОФИЕЙ

Он поистине многогрешен,
Ввек ему оправданья нет;
Слаще девушек и черешен —
Что ему в девятнадцать лет?
Но, к несчастью, он от природы
Сделан пугалом для невест:
Он прекрасен, как Квазимодо,
И к тому же хром, как Гефест.
Что же делать ему, бедняге,
Как он горю поможет тут?
— Он пером по белой бумаге
Романтический пишет труд.
Сотни девушек на блокноте,
И хотя б одна наяву.
Вы, читатель, его поймете,
Посочувствуете ему.
Он, бедняга, не знал покою,
Он совсем от горя поник...
И решил уйти с головою
В мудрый мрак философских книг.
Самой сложной в мире науке,
Самым толстым в мире томам
Думал душу сдать на поруки,
Думал годы упрятать там.

Но припомнился доктор Фауст,
Мудрый старец-анахорет,
Как его попутал лукавый,
Несмотря на солидность лет.
А уж он ли ни был испытан,
А уж он ли ни был учен,
Все ж немудрую Маргариту
Всем премудростям предпочел.

1950

СТАРЫЙ ГОРОД. ПРАЗДНИК

На балконах флаги полощатся,
Звонки шутки у горожан.
Ты подходишь к базарной площади
От гостиницы «Вайсер Шван».
Едет всадник, по камню цокая.
Ты за ним — под башню, в проезд,
Ражий парень, росту высокого
Вырастает наперерез.
Из-под шляпы глянет насмешливо.
«Вам куда?» Переспросишь: «Мне?»
Ражий парень тебя, не мешкая,
Алебардой припрет к стене.
Зазвенит монета упавшая.
«Это ваша?» — «Да нет, кажись, —
За здоровье города вашего
Рюмкой звонкою освежись».
Розоватым солнцем окрашенный,
Луч заката в стеклах дробя,
Ржавым звоном курантов башенных
Старый город встретит тебя.
На базаре мешки рогожные,
Виноград, повозки, народ,
Тетка Ганна, жена сапожника,
В лавке овощи продает.
Переулки толпой запружены,
Шум базара звонок в ушах.
Молодцы с кремневыми ружьями
По камням отбивают шаг.

И за ними улицы гулкие
Повторяют дробную дрожь.
Ты старинными переулками
За солдатами вслед уйдешь.
Сероватый забор расшатанный,
Штабель дров и разбитый пень,
Городская стена зубчатую
В переулок бросает тень.
Дом с балконом, камень нетесаный,
Это верно ведь здесь жила
Старушоночка горбоносая,
Что у Ганны сына свела.
Свежий вечер. Пустеют площади.
Кто-то шумно закрыл окно.
На фасаде едва полощется
Разноцветное полотно.
Ночь и холод, составив заговор,
Уведут тебя на покой,
А наутро ты выйдешь загород,
На обрыв над звонкой рекой.
Ухватившись за куст орешника,
Камни сыплешь ты под откос,
И по-дружески, чуть насмешливо
Дыбит ветер пряди волос.

1949

ФАБРИС

Вольно по Стендалю

В лесу раздается топот копыт,
По просекам, вдоль оврагов.
Наездник дорожной пылью покрыт,
Он в темном плаще, со шпагой.
Вся дикая вишня в полном цвету.
Он слепнет, на солнце глядя,
Склоняясь, он ветки рвет налету,
Он лошадь по холке гладит.
Шумит развернувшись лаковый лист —
Скачи да в седле качайся!
Смеется на солнце юный Фабрис,
Веселый баловень счастья.
Веселый соперник мрачных мужей,
Смиренный служитель дамы,
Насмешливый враг ночных сторожей,
А едет он в Пармский замок.
Он станом изящен, легок и быстр,
Танцор, фехтовальщик прыткий —
Недаром встревожен премьер-министр
Судьбой своей фаворитки.
Фабрису вельможный гнев нипочем,
Он клонит пред ней колена,
Но завтра же он всерьез увлечен
Пьереттой бродячей сцены.
Соперник не дремлет. В блаженный миг
Тяжелый шаг его слышен,

Соперник в дверях ... Но Фабрис привык
Порой уходить по крышам.
Назавтра Фабрис в бою заколол
Шутя несчастного мужа.
Небрежно он бросил шпагу на стол:
«Подайте мне сытный ужин!»
Блаженство — Пьеретту к сердцу прижать,
Однако ж не спят жандармы.
Он вместе с Пьереттой должен бежать,
Он должен бежать из Пармы.
Коляска готова. Кони бегут,
Рассыпав дробь под копытом.
Вдруг мост и застава, а берег крут,
Дорога дальше закрыта.
Однако погоня уже видна,
Дрожит Пьеретта, боится.
«Мой друг, ты поедешь дальше одна,
Мы встретимся за границей».
Одну лишь секунду думал Фабрис.
Скорей! За кустарник ивы ...
Мгновенье — он ласточкой прыгнул вниз,
Он в реку прыгнул с обрыва.
Но здесь изменило счастье ему,
Глядь — руки за спину крутят,
Он на десять лет посажен в тюрьму,
С окошком в железных прутьях.
Теперь он на мир глядит из окна,
Живет на воде и хлебе,
А в Парме, как вишня, цветет весна,
И солнечен птичий щебет.

Теперь он беспомощно смотрит вниз,
С улыбкой смотрит на землю,
Где тонкая девушка кормит птиц
В саду, под башней тюремной.
У девушки этой ласковый взгляд,
И профиль ажурно-тонок.
Фабрис, как ребенок, девушке рад,
Смеется ей, как ребенок.
Она раз от разу будто нежней,
И словно будто печальней,
Помочь бы, когда напьется сильней
Отец, тюремный начальник.
Веревка за брусья одним концом,
Напильник, немного силы . . .
Свобода . . . А девушка под венцом
Из церкви идет с немилым.
Свобода . . . На что свобода ему?
Зачем без нее свобода?
Он мог бы теперь вернуться в тюрьму
Навек, на многие годы.
Зачем он решетки зубами грыз,
Царапал брусья стальные?
И понял тогда беспечный Фабрис,
Что он полюбил впервые.
Недавно с веревкой он прыгнул вниз,
Сменив на волю решетки.
Но скоро и волю свою Фабрис
Сменил на скуфью и четки.

1950

«ФОРЕЛЬ» ШУБЕРТА

Этот берег размыт и высок,
Золотисто стволы загорели,
Камни, солнце, пороги, песок
И вода, где играют форели.
Леденящая свежесть воды
И прозрачность застуженной глуби,
Многогранник альпийской гряды,
Воздух, отзывы ветра и Шуберт.
Это трепет играющих рук,
Или серна меж веток хрустящих,
Воздух чутко втянув на ветру,
Приготовилась броситься в чащу.
Ты ее приближеньем спугнешь,
Ты нечаянно ступишь на гравий,
Это легкая, чистая дрожь,
Это Шуберт касается клавиш.

1953

ПИСЬМО

Ты, может, вовсе этого не хочешь,
Но десять раз письмо перелистав,
Я все равно увижу между строчек
Снежинки, тающие в волосах,
И день, когда сметало ветром шляпы,
Когда моргал напротив светофор,
А мы с тобой пересекали Штахус
Автомобилям всем наперекор.
Мы спорили о чем-то до захлеба,
Мы шли и натыкались на людей,
Мы были, как помешанные, оба
В холодный и веселый этот день.
И оказалось, можно дружбы ради,
Все косные законы сокруша,
В конверт заклеить Штахус в снегопаде,
Тебя саму и ветер, рвущий шарф.
И волосы, растрепанные ветром,
Что под платок убрать ты не смогла.
Как это все не разорвет конверта,
Не разломает ящика стола!
А ты тиха. Тебе синоним скромность.
Ты и подумать не могла о том,
Что сможешь всю квартиру переполнить
Одним в конверте сложенным письмом.

1950

АНГЛИЙСКАЯ ТЕМА

В наружности студентки колледжа
(Английскому поэту ее писать!)
Запечатлен перелив колокольный
И золотом вечера прохваченный сад.
Так вот она, Озерная Школа
(Озеро светится у нее в зрачках),
Схоластика текста, хрустальный холод,
Страницы бегут, стихи звучат.
С ней на скамье английская осень
(Холодная осень с золотом в синеве),
Английскую осень, как плащ набросив,
Она прищурилась и смотрит на свет.
Тяжелая книга у нее на коленях
(Мир скрещенных шпаг, сведенных рапир),
Прядь волос по лицу пробегает тенью,
А в пристальном взгляде живет Шекспир.
Мелочи английского быта
(Загородный дом и фермы за ним)
В ней проступают грацией скрытой,
И легкостью природе сродни.
На портрете Генсборо она с рассеянным взглядом
(А, может быть, старшая ее сестра?),
На портрете Генсборо она английским садом
Бродит, и трава от росы мокра.

В Оксфорде готическая читальня
От нее заперта монастырским замком.
В Оксфорде брат у нее и дальний
Родственник, что с этим братом знаком.
А здесь на скамье — под взглядом Кольридж,
Зеленый кампус, склоненная голова,
Просторный, в зеркальных стеклах колледж,
Английский локон золотистого лба.

1958

СТИХИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ГЕТЕ

1

От прорастающего семени
До облаков, паров, дождей,
Мир роста, смерти, воскресения,
Потенций, образов, идей
Ему открыт. Разноголосица
Природы каждый день нова,
Туманность звездная проносится,
И говорят тетерева.
Снега уходят. На проталинах
Дрожит кустарник молодой,
Озера налиты хрустальные,
Луга затоплены водой.
Под берегом широкий сом плеснул,
Сохатый лось мутит ручей,
В огромность женственного комплекса
Включен свободный мир вещей.
Ей имя жизнь. Увековечена
Она Творцом во всех и вся,
Она природа, сила, женщина,
Живет, весь мир в себе неся.
Она поэта учит зрению,
Структуре почки и листа,
Она есть вечность, а во времени
Как Гретхен, ласкова, чиста.

2

Спит душа. Душа живет пустая,
Но в нее врывается, как гром,
Властной темой женственность вступает,
Будит мысли, двигает пером.
В птичьих крыльях, в птичьих перелетах
Бьется жизнь. Преобразился космос.
Кто она? Весна? Виденье Гете?
Черный свод в летящих звездных космах

1957

ЦИКЛ «ГОЛЛАНДИЯ»

АМСТЕРДАМ

Ночью мы путались с поездами,
Поезд до свету спать не давал,
И, очутившись в Амстердаме,
Вышли, опешив, на вокзал.
Газеты, журналы, рыба печеная,
Селедки голландские всех сортов,
Рыба печеная, прокопченая,
Свеже-доставленная с портов.
Камбала, жареные угри,
На гульден — пару, подходи, бери.
Руки в карманы, снуют матросы.
К первому матросу обращаюсь с вопросом:
«Мне бы, минер, просто и быстро
Пробраться на Амстердамскую пристань».
Матрос безразличным взглядом мерит,
Матрос отвечает с недоверьем:
«Вон она, пристань, лес из кранов,
Порт для своих и иностранных».
Небо коптят, туманят трубы,
Лязгает поршень, ходит туго,
Справа шипит и дымится гневно
Сам краснобортый «Агамемнон».
Масляный кран клешнями берет
Уголь с состава на пароход,
Потный рабочий в сабо-колодках
В воду плюет хребтом селедки.

Рядом кафе. Лакеи во фраках,
В лоске блестящих башмаков.
Кофе? Ликера? Салата? Раков?
Завтрак в минуту будет готов.
Вечер. Блестящий месяц молод,
На кораблях блестят огни,
Баржи замшелые у мола,
С барьера перегнись, взгляни.
Тихо. А где-то бьют кастетом,
Где-то кого-то насмерть бьют.
Весь Амстердам гуляет до света,
Руки засунув в карманы брюк.

1951

АКРОСТИХ

Английские, французские, американские флаги,
Матросы переругиваются и ржут,
Солнце возле дамбы вечер расплавило,
Толпы туристов возле пристани ждут.
Если есть деньги — можешь растратить:
Ржавые селедки, раки, вино.
Денег не осталось, денег не хватит —
Абсолютно каждому все равно,
Можешь идти хоть с камнем на дно.

1951

*
* *

У причалов топчется волна,
Лодки, лодки, паруса и мачты.
Плотный плащ мазутом перепачкан,
Мачта на болту закреплена.
Гни направо, налегай на борт,
Ух, ты чёрт, забрызгивает в морду.
Черпает, а до чего просторно —
Вроде даже за душу берет.
За душу! За шиворот — вода,
Прыгаем, пригнувшись, по барашкам.
Хоп-ля-ля! Качели! Нет, не страшно,
Ишь, волна катит туда-сюда.
Обогнавший легкий катерок
Заставляет нас взмывать и падать,
Термос с чаем, плитка шоколада —
Так мы в лодке едем вчетвером.
Ветер, разгуляйся и качай,
Боже, что осталось от пробора?
Холодно. Хохочем. С жутким вздором
В термосе отхлебываем чай.
Чай хлебаем. Чайки у кормы.
Через борт хлебает лодка воду,
Хлябает веревка, и холодный
Резкий ветер с лету ловим мы.
Хорошо. Широким жестом нас
Приглашает ветер на озера,
Мы ушли от барок и моторок,
Обогнали парусный баркас . . .

Старичок стащил комбинезон,
Розовый, поблескивал очками —
Выходи, довольно покачались,
Добрались как раз перед грозой.
Теплый дом, хозяйка в сединах.
Как погода? Ветром не продуло?
Ты, небось, о шарфе не подумал,
Долго ль до простуды на волнах.
Ничего, отличная волна,
Аккурат волна какая надо,
Там у мола целая армада
Возле нашей пристани видна.
Мадер, мы шатались целый день,
Нам теперь поесть бы не мешало,
Холодно. Еще и ветер шалый
Приготовь нам парочку сельдей.

На камине дорогой фарфор,
Рюисдаль, ладьи и мокрый парус,
Старый доктор, закурив сигару,
Засыпая, тянет разговор.
Серебро за створками в стекле,
Серебро в очках, в висках, в проборе.
В молодости я служил на море,
Я врачом служил на корабле.
Кружка пива в белом парике,
Пена с шумом падает на скатерть . . .
Прозит! За фрегат, баркас и катер,
В озере, на море, на реке,

И еще за город Амстердам,
За его подгнившие причалы,
Чтоб верфям без дела не скучалось,
За удачи флотским мастерам.

1951

СААРДАМ

Лопасти ветряной мельницы,
Хлопающая ставня у окна,
Лодка за окнами на мели
С парусом холщевым видна.
Стружка под стульями рыжая,
Рубанок, два отвеса, скоба,
Рубаха, взмокшая хоть выжми,
Резкая конвульсия лба.
Кружка в меди подстаканника,
Водочная бутыль полупуста.
Плотник из гавани, Петр Михайлов,
Жирную селедку жует с хвоста.

1951

ВЕЧЕРОМ

Чайки кричат — горластые птицы,
«Чайна» — китайский ресторан,
Чаю хотите, минер, напиться?
Чашка за гульден и полтора.
Сколько их здесь — желтолицых, черных,
Индонезийцев и других,
Всё здесь торгует рыбой печеной,
Жулит, смеется, говорит.
Боже, неужто я в Амстердаме? . .
Рушится, брызгает волна,
Город направо встает за нами,
Гавань налево сзади видна.
Я на глазок волне не поверю —
Кто ее знает, кто она,
Я зачерпну у борта скорее —
Вправду ли горько-солона.
Щепки и корки от апельсинов,
Черная пристань, пестрый флажок,
Солнце уже лишается силы,
Красный фонарик бакен зажет.
Весело. Весла плескают где-то,
Катер наш выключил мотор,
Дамба встречает фонарным светом
Нас, посетивших здешний порт.
Город приподнят, весел без толку,
Пляшет буек у волн на горбе.
Весело всем, а может быть, только
Мне и тебе? . .

1951

КЕРОСИНОВАЯ ЛАМПА

Как бабочки кружатся на террасе
У лампы керосиновой, вы видели?
Сошел с балкона — в ночи затерялся,
Из ночи только круг под лампой выделен.
Широкий круг. Он так уютен. Манит
Придти с купанья (речка тут же под боком,
За черным садом), ужинать в мельканьи
Седых ночниц, со стен и окон согнанных.
Ступеньки в темный гравий убегают,
Сыр на столе, завернутый в пергаменте;
И кажется, от шелеста бумаги
Возможна тень. Так воздух чист. И тянется
Дорожка от террасы до обрыва.
Мученье с этой лампой, с керосиновой:
Всегда течет. Фитиль обрезан криво,
И вонь не выгнать никакими силами.
Бывает так, что есть невыносимо.
Мы глушью этой враз обезоружены,
Творог и булка пахнут керосином,
Подумайте! И так за каждым ужином.
Но спать пора. И лампу в дом уносят,
И тени вдруг качнулись и смещаются,
И жалит стекла комариный носик,
Комар пищит и мается в отчаяньи.
Бревенчатые стены и простенки
Плывут тенями, щели углубляются,
Клочками пакля лезет, между тем как
Шкафы и балки начинают кланяться.

И все стихает. В чашке тесто пухнет.
Далекий лай, собаки чуют что-нибудь . . .
На полке полоскательница в кухне,
Да спички дремлют на постельном столике.
Проснешься ночью, резко чиркнешь спичкой
Блеснет клеенка желтоватым лаком,
Да мягко глянет твой пенат привычный,
Твой сторож — керосиновая лампа.

1957

УЧЕНЫЙ

Размах и силу чертежу дает он,
Безмерен он по широте охвата,
Из рук его стартуют самолеты,
Дымят ракеты. Им расщеплен атом.
И кажется, он достает до неба,
И Млечный путь ему не седина ли?
Под цифрами раздвинут звездный невод,
И голову планеты задевали.
Он формулой заглядывает в вечность,
Системам он свое оставил имя,
А в молодости так бывал застенчив
Под чистым взглядом женщины любимой.
Сегодня ночью сдал сердечный клапан.
Во сне он умер. Формул всех проверка.
Мелькнула жизнь, и так неважен атом
И ход планет в сравнении со смертью.

1957

УКСУСНЫЙ ФЛАКОН

На приборах были монограммы,
Дверцы шкафа разлетались врозь,
Был хрусталь на полках многогранный,
Чистый, звонкий, ясный, как мороз.
Были рюмки, кувшины, графины,
Винные бокалы с холодком,
Был цветного хрусталя старинный
Узкогорлый уксусный флакон.
В памяти поблескивает кротко,
Проступает в первозданной мгле
Радуга его граненой пробки
В перекличке с лампой на столе.
В этом старом уксусном флаконе,
В капельке прокисшего вина
Краски я разглядывал, знакомясь
С миром, окружающим меня.
Был фарфор саксонский — на тарелках
Золотые бабочки, жучки;
По краям листва сплеталась крепко,
Гроздья винограда заключив.
Открывающаяся реальность
В чистый мир орнаментов звала —
Так слагались и определялись
Чувства, мысли, склонности, слова.
Целый мир на память сохранило
Красное прокисшее вино,
Детский мир, где все неповторимо,
Потому что не повторено.

1956

КОРО

Лесную лужу, тронутую ветром,
Густой туман и темные стволы
Коро писал, устроившись с мольбертом
На лодке у раздвоенной ветлы.
Писал тревожно. Торопился. Верил
Инстинкту кисти, схватывал, глядел.
В мазке уже открылся темный берег,
Уже кувшинки плыли по воде.
Коро работал яростно, с порывом.
Он мог дышать, угадывать, расти.
Вот образ, словно клюнувшая рыба,
На озере плеснулся и затих.
Лесную сырость в творчестве, осину
Белесую, с ободранной корой
Писал Коро. Писал лесную силу,
Густых верхушек золотистый строй.
Кивала лодка, под ветлой качаясь,
Вода кивала, солнечно рябя.
Он пруд писал. И, сам не замечая,
В воде и ветлах написал себя.

1957

*
* *

Взмывают волны. Зацветает вишня.
Блестят глаза. Смеется телефон . . .
Чем тоньше профиль, тем пути трагичней,
Чем легче шаг, тем круче будет склон.
Но каждый взгляд и каждый вздох доверчив,
И в каждый омут хочется взглянуть,
А где-то каждый шат уже расчерчен,
Чем тоньше схема, тем тревожней путь.
Меняясь скрещиваются орбиты,
Метеорит сгорает целиком,
Волна об отмель плоскую разбита,
Проходят дни, смеется телефон.
Чем тоньше профиль, тем острей пути,
Чем легче шег, тем больше бездн открыто:
Душа пропала в вихре и летит
На крыльях бабочки вослед метеориту.

1957

*
* *

Проходишь топким берегом реки
И дышишь ветром, и живешь деталью:
Бугристой веткой, цветом облаков,
И опереньем уток у плотины.
Бугристой веткой дышит голый лес,
Душа реки выплескивает рыбкой
Из-под коряг, и кряква бьет крылом.
И ради этих веток и коряг
Живешь и дышишь, все леса и реки
В себе вмещая, ты идешь навстречу
Шумливым уткам, топким берегам
И перистому оперенью неба.

1955

ГОРНЫЙ ХРУСТАЛЬ

Горный хрусталь... Он не гордостью стали,
Чистой душой он отличен от всех
Залежей... Дремлет, в глаза не бросаясь,
В глыбу оправленный солнечный спектр.
Горный хрусталь... Прирожденная скромность,
Твердая скромность в сознании сил;
Он эти глыбы горячими помнит,
Лаву он видел, обвал выносил.
Тает веками сползающий глетчер,
Глетчер идет, волоча валуны —
Дикий хрусталь — он почти человечен
Тусклым сияньем своей глубины.
Дружит в веках с ледниками и с небом,
С солнцем и ветром — ведь он им родня.
В блеске кристалла — врожденная смелость,
Чистая смелость уральского дня.
Пусть за столетья уральских обвалов,
Пусть за столетья со снегом, с дождем —
Жизнью семьи, долголетьем бокалов
Будет уральский хрусталь награжден.

1957

В ПОЕЗДКЕ ПО ИТАЛИИ

Они проходили по галереям,
По солнечным, со стеклянным верхом.
Она была вся — полет и доверье
К полотнам и людям, к мненьям и меркам.
Болонья, Флоренция и Равенна
Прошли, преломясь в зрачках палитрой.
Дорога была постоянной сменой
Туннелей, мостов, перронов крытых.
Она похудела за две недели,
Казалась изящней, проще, выше,
Глаза затаенным солнцем глядели,
Сияли прозрачной призмой крыши.
Открылась дремавшая сокровенно
Женственность, чистая до конца.
Осталась: в изломе бровей — Равенна,
Флоренция — в овале лица.

1957

*
* *

«Письма задержаны половодьем»
Из переписки Киреевского

В распутицу запаздывают письма,
Разлив уже дорогой завладел,
И перелески в воздухе повисли,
Прозрачно отраженные в воде.
Там дом, Россия, теплый пар, телеги,
Грачи, вода, проселки, талый снег . . .
А здесь, в Берлине, два семестра Гегель
Читает курс, упрятав нос в конспект.
И русскому студенту улыбнулась
В берлинском доме тульская весна,
Он письма получает из-под Тулы,
Читает, пишет, смотрит из окна.
Читает книгу. Истину находит
У Шеллинга. А в письмах от своих
Сквозь почерк проступает половодье,
Часы на тяге, вальдшнеп, дробовик.
Он видит эту воду. Перелесок
Встает живой. И знает талый снег
Ту истину, которая не в тезах,
А в солнце, в дружбе, в родине, в весне.
И вальдшнеп, протянувший за осиной,
И почтальон, захваченный в разлив,
В одной огромной правде согласились,
Один могучий синтез донесли.

1957

КАПИТУЛЯЦИЯ

Здесь ягодник, и мы устали,
Тянуло с солнца в холодок,
И бабочка, между кустами
Порхнув, присела на ладонь.
И солнцепек, и ежевика . . .
Ладонь и бабочка близка,
И сильно голова кружится
От наклоненного виска.
Сейчас на карту все поставлено,
Сейчас игра вабанк и вызов . . .
Что ж, я, вы думаете, каменный,
Чтоб выносить такую близость?
Трескучая лесная чаща,
День парит и идет гроза —
Так нате ж, вот вам, получайте,
В виски, и в уши, и в глаза.
Атака в лоб с охватом флангов,
Куда уж тут сопротивляться . . .
В колючках, в листьях, в ветках, в лапах,
Подписана капитуляция.

1953

МИКЕЛАНДЖЕЛО

1

По флорентийскому базару,
По солнечному камню улицы,
Где крик торговок спозаранок,
Где спорят, жулят и целуются,
Где промышляет нищий кражами,
Где говорят, поют, танцуют,
Бочком проходит Микеланджело,
Идет сторонкой в мастерскую.
Чуть горбится по плитам площади,
Где воробьи клюют в помете,
Где скрип колес, ослы и лошади,
Повозки, фрукты и лохмотья.
В худом сарае — мастерская —
Обломки мрамора в кусках,
Обломки торсов, битый камень,
Обломки мускулов и скал.
Он — бог, и мир его огромен,
Заданье — мрамор укротив,
Из хаоса каменоломен
Титанов вызвать и святых.
Зубило сдержанно и остро
Врубается в зернистый строй,
И глыба мраморного торса
Вспухает мускульной игрой.

Вот он, гигант, из камня высится,
Стоит, слегка повернут в профиль,
И вена, вспухшая на бицепсе
Играет кровью всей эпохи.
Еще кругом остатки мрамора,
А он стоит легко и прямо,
И первым вздохом грудь расправлена,
Как в день творенья у Адама.

2

Какой большой и влажный ветер,
Как много листьев, волн и скал,
И как свободно по планете
Бог эту воду расплескал.
Рожденная разрядом силы,
Перенесенная извне,
Себя Дельфийская Сивилла
Не сознает еще вполне.
Ей быть и радугам и ливням
Сестрой. Дышать и жить в ростке.
Вот изначальная наивность
Со свитком мудрости в руке.
Еще. Ей быть сестрой титанов,
Ей быть сестрой прозревших глыб,
Дружить с камнями и кустами
И слушать моря хлесткий всхлип...

1956

КАНУН РОЖДЕСТВА

Сочельник плавит свечи, смотрит в звезды,
Снега смирив и ветры спеленав;
И поднимает крылья в ясный воздух
Мелодия и голос «Штилле Нахт».
В светлых высях полет голосов,
Диалог колокольных высот,
Отзывается в звездной пыли
Голос меди и голос земли.
Сочельник каплет воском, студит стекла,
Зовет хрусталь на ветках повисать,
И вспыхивает блик, упавший с елки,
На темнозолотистых волосах.
Мотив из детства. Ты его певала,
Ты с ним росла. Он был твоим вполне.
Самой себе ты в нем приоткрывалась,
Тогда он стал твоим письмом ко мне.

1958

ИЗ ПОЭЗИИ БОЛЕСЛАВА КОЛОСОВСКОГО

1

В лопухах, за молочной фермой,
В напухающих лопухах
Бродят гуси, высокомерно
Разговаривая о пустяках.
Переваливаются, задыхаясь
От презрения к петухам,
И, пикируясь с лопухами,
Принимаются хохотать.
Это мир слизняков и гусениц,
Влажных листьев, мутных канав,
Здесь в июле слепни укусами
Донимают глупых собак.
Это полдень с пчелиным пеньем,
Это пчельник на пустыре,
У канавы стоит репейник,
Простокваша киснет в ведре.
У воды репейник — великий
Сумасброд, чудак и пророк,
Воевода гусей, улиток
И начальник скотных дворов.
Командир над сырой низиной,
Он стоит над округой всей,
Молчаливо-неотразимой
Оппозицией для гусей.
В лопухах раздолье улиткам,
Передряги гусиных ссор.

Отвори со скрипом калитку
И войди на господский двор.
Только с барином — осторожней,
Только барину не перечь:
Желваки желтоватой кожи,
Угловатость поднятых плеч.
Барин сед, как сизый репейник,
В нем живой протест воплощен,
Воплощенное нетерпенье
В серосизой щетине щек.

2

Борзятнику, стрелку, поэту
Забава — шарить по кустам,
Ломать сырую заросль веток,
И брать барьер, и рвать кафтан.
Искусство, глазомер и навык,
Непринужденная игра,
Верхом скакать через канаву,
С конем обрушиться в овраг.
Собачий лай, сбиваясь в кучи,
Разносится поверх травы,
В лицо — напористые сучья,
Над бровью — ссадина в крови.
Уже долины задымились
И потемнели ветки чащ . . .
Я буду в кресле, у камина
Читать Вольтера при свечах.

1956

ПОХИЩЕНИЕ

А в двенадцать часов
Телефонный звонок из Берлина —
Говоривший спешил,
От волнения комкал слова...
Полицейский патруль,
Через час прилетевший на место,
Подтвердил похищенье,
Составив о нем протокол.
Полыхал на ветру
Разметавшийся тюль занавески,
И скулила ищейка,
Намордником тыкаясь в пол.
На квартире — разгром,
Дотлевают седые окурки,
Кофе в чашках остыл,
И на нем сероватый налет...
Гость был связан шнуром,
Рот заткнули разорванной курткой,
Пятна крови густы
На пушистом ковре под столом.
Окровавлен газон
У дверей двухэтажного дома,
Тихих шин лимузина
Шуршание по мостовой —
Так в Москву увезен,
Так похищен наш общий знакомый,
Так в предместьи Берлина

Он выдан врагу головой.
По профессии врач
Он мне помнится в белом халате:
«Соблюдайте режим,
Перво-наперво полный покой . . .»
Так без громких задач,
В тесном круге уютных понятий
Прокатилась бы жизнь
Серовато-прохладной рекой . . .
Но привычный халат,
Серовато-прохладные будни
Он меняет на митинг,
На самый рискованный матч.
Из больничных палат
Он был вызван стоять на трибуне,
Не боец, не политик,
А быстро стареющий врач . . .
Чуть картавое «р»,
Золотые глаза под очками,
На трибуне Берлина,
На стыках враждебных миров —
И проломан барьер,
И грохочет Берлин, отвечая,
В самом главном единый
Берлин четырех секторов.
Вечер мартовский сох,
В ресторанах джазбанды бурлили,
Бились капли о камень,

Сочились карнизов края . . .
А в двенадцать часов
Телефонный звонок из Берлина —

Мир и вечная память
Погибшим за други своя.

1955

ЭТО СРАЖАЕТСЯ БУДАПЕШТ

1

Осень в Нью-Йорке. Сырость рассвета,
Площади. Лавки. Грузовики . . .
Ночь напролет, штампуя газеты,
Гудят и захлебываются станки.
Это в станках гудит, нарастая,
Крепнет широкий напор надежд,
Это растет и пухнет восстанье,
Это сражается Будапешт.
Это — у горла пальцы разжались,
Это — народ пошел напролом,
Это — повстанцы, вооружаясь,
Отбивают за домом дом.
Может быть, завтра под танки лягут,
А сейчас наводят прицел,
Рвут звезду с венгерского флага,
Занимают радиоцентр.
В треске винтовочной перебранки,
В дымных разрывах авиабомб
Разворачиваются танки,
Поднимается пыль столбом.
Будка пивная танком задета,
Рельсы трамваев, песок, земля . . .
Это в рабочих, это в студентов
Танки отказываются стрелять.

Это — к восставшим уходят танки,
Жерла ворочаются находу,
Русский танкист, братаясь с повстанцем,
С пыльного шлема сорвал звезду.
Дым от пожаров стелется низко.
Тюрьмы открыты. Тюрьмы горят.
Это — по улицам коммунисты
Вольно раскачиваются на фонарях.
Властно сдувая сонную одурь
С заспанных душ, с народных пластов,
Это — венгерский ветер свободы
Врезался в гул газетных станков.
Кажется, все желанья и мысли,
Кажется, всех тупиков исход,
Кажется, души наши повисли
На остриях венгерских штыков.

2

Это — шуршат газетные гранки,
Ветер в каштанах ясен и свеж.
Это — из тыла стянуты танки,
Это сражается Будапешт.
Это — весь мир гудит в разговорах,
Это — открыт австрийский рубеж,
Это — нахмуренный лязг затворов,
Это — сражается Будапешт.
В Австрию серо-землистой лентой
Беженцы хлынули через брешь.
Необходимы медикаменты.
Это — сражается Будапешт.
Радиосводки. Радиовести.
Мы не сдадимся — хоть жги, хоть режь.
Это — расстреливают на месте,
Это — сражается Будапешт.

1956

АНАКРЕОНТИЧЕСКИЙ МОТИВ

Здесь в каждом доме царствуют пенаты,
Пускай они — лишь пламя в очаге,
Пускай их вовсе нет. Они как прежде святы,
Они родня горшку и кочерге.
Здесь бывает Силен толстопузый,
Для него зажжено
Вино.
Ясный голос греческой музы
В этом доме знаком давно.
Будет кубок с кубком встречаться,
Огоньком горя золотым.
Очень трудно музе-гречанке
Без привычки учить латынь.

1957

ВРЕМЯ ЮСТИНИАНА

Снилась императору вселенная:
Реял крест над холодом закона,
Заплывал в покои толстостенные
Топот христианских легионов.
Под кадильный плеск, под возглас «Кирие
Совмещались в куполе Софии
Катакомбы Рима, грозы Сирии,
Фиваидские скиты сухие.
Сон сбылся. Неслись пески горячие,
Поднимался дым селений брошенных,
У вандалов Африка захвачена,
Возле Тибра ржали в пене лошади.
Цвел Константинополь. Гимнам вторила
Тишина дворцовых переходов,
Обрастала догмами история,
На века записывался Кодекс.
Сон сбылся, но явь была расплатою:
В первый раз в лицо пахнуло тленом,
Складка меж бровями императора,
Трещина качнувшейся вселенной.

1958

МАЙ СОРОК ПЯТОГО

1

Ночью стреляли. Гулко, с захлебом
Били зенитки, и на мосту
Гулко вскипал пулеметный клекот,
Сходу проваливаясь в пустоту.
Жили без тока. Ждали. Зевали.
И ожидания развязал
Танк, подошедший к зданью вокзала,
С дулом, направленным на вокзал.
Город затих. Нахмурились стены,
Двор к тишине еще не привык.
Утром на улицах брали пленных,
В городе ставили часовых.
Джипы на площади. Парк, измятый
Боем, что только что здесь прошел.
В каждый подъезд стучались солдаты
В рыжей щетине небритых щек.
Май сорок пятого. Май на Рейне —
В вязких воронках стоит вода,
Листья в пыли. Окопы. Деревья.
Улицы. Рваные провода.
Дымная муть меж кровель покатых.
В душах отчаянье, стыд и страх,
И продаются за хлеб солдатам
Женщины в брошенных бункерах.

И распускается клен и тополь,
Это весна вступает в права,
В мокрых садах разбитой Европы
Возле воронок брызжет трава.
Бойко побеги рвутся наружу,
Бурые почки листьям тесны,
Бьется напористый, быстрый, дружный,
Непобедимый наплыв весны.

2

От листвы кустарники распухли,
Все каштаны ломятся от свеч,
Под брезентом, у походной кухни
Синевато задымила печь.
Здесь вода в бензиновых канистрах
Плещется. Мальчишка-судомой
Кашу недоеденную выскреб,
Суп в ведерке уволок домой.
Старый город. Первый мирный месяц,
Солнце по асфальту бьет в упор,
Теплый ветер. Каждый тополь весел,
Каждый лист вступает в разговор.
Весь квартал снарядами расколот,
Разраслась смородина в садах,
Рыбу ошарашенную толом,
Поднимает мутная вода.
Дни идут без танкового лязга,
Дни без пулеметного свинца,
Оторвавшись от военной спазмы,
Отдыхают души и сердца.
Возле кухонь блеск консервной жести,
В окнах зубья битого стекла.
Так любовь неузнанная вместе
С первым мирным месяцом пришла.
Разрастаясь, стала вдруг огромной,
Все масштабы переворошив,
Пустяки значением наполнив,
Крупное весомости лишив.

В каждом впечатлении сквозила,
Под свое владычество забрав
Даже запах масла и бензина
От заглохших танков во дворах.
Озадачила меня. Связала
С новым смыслом каждый шаг и дом,
Развороченный бетон вокзала
И кварталов обожженных лом.

. . . .

Это май, замолкший в сорок пятом,
Ясени у городской стены,
Это поднимается в заплатах
Город, отвыкая от войны.

1956

НА СЕНОВАЛЕ

Сарай. Свобода. Лето. Тень.
Сверчок со стрекотом коротким,
И голова между локтей,
И книга возле подбородка.
Прохладный воздух в щель течет,
Стена сарая чуть расселась,
И луч сквозь выгнивший сучок
Ложится пятнышком на сено.
И невозможно удержать
Веселого биенья сердца.
Пылинки в воздухе дрожат,
В луче не устают вертеться.
Поет труба и рвется стяг,
Дается рыцарское слово.
В пустыне дротики свистят,
Пылят арабские подковы.
Проходит много, много лет,
И кто-то принял смерть в походе,
И кто-то выполнил обет,
Освобождая Гроб Господень.
И хочется почти до слез
В огромный мир, во рвы, под стены,
А солнце брызжет через тес
И опьяняет запах сена.
И впечатления остры,
Коленки в ссадинах, в занозах,
А мир еще недооткрыт,
Еще не назван, не осознан.

1958

ОТКРЫТЬ ОКНО

Открыть окно, чтоб занавеску ветром отдуло,
Чтобы ветки в дом вошли,
Чтоб влажный сад в цвету стоял за стулом,
Чтобы гудели бурые шмели.
Дышать землей и видеть сад и слева
В весенней дымке влажных крыш излом.
Стоять в окне, дышать огромным небом,
Стоять весной над письменным столом.
Проходит солнце, сырость листьев выпив,
Перемещая тени на стене,
Весна вместилась в параллелепипед
Окна. Она приказывает мне
В прямоугольник солнечной страницы
Вписать окно, вписать горячий сад,
Из комнаты по пояс наклониться,
Стрекоз и светлых бабочек вписать.
Вкось плещется и светотенью веток
Играет сад, листвой отяжелен,
Открыть окно с голубоватым светом,
С просторным ветром, с небом, со шмелем.

1957

ЧЕСТНЫЙ РЕМЕСЛЕННИК

Ножи точу я,
Ножи острю я,
Котлы врачую,
Чиню кастрюли.
Напильник, сдержанно ворча,
Болванку точит для ключа.
Напильник точен, тверд и жгуч,
Была болванка, вышел ключ.
Ты был болван, а стал умен,
Таков закон для всех времен.
Ты был умен, а стал болван,
Приехал ты за океан.
О ток! О токарь! Как послушен
Тебе набор твоих игрушек,
Твоя пила
Тебе мила,
Коловорот
Тебе не врет,
От копоти тебя не рвет,
Наоборот.
Я продаю стекло для рам,
Стекло для рам
Я режу вам.
Размер отмерил я и — раз!
Вдоль по стеклу ползет алмаз.
Рукой я надавил едва
И вам стекло вручаю — два!
Всегда, включая и обед,
Я продаю багет, багет.

Вошедший, бди,
Считай монеты,
Не уходи:
Купи багета.
Купи багета
На много лет,
На многи лета
Купи багет.
Я мастер скромный,
Но мой совет:
В уюте комнат
Меня припомни
И мой багет
И мой совет.

1956

УТРО

Присела на поваленной березе,
Присела боком. С книжкой. У воды.
В траве у корня муравьи елозят,
Мелькают тени листьев молодых.
И в свежей блузке, тронутой крахмалом,
И в небе синем вправо от ствола,
И в дереве, которое упало,
Когда еще ты девочкой была,
Сквозило утро. Пахло земляникой
И сыростью. Паук на ветке вис,
А утро преломлялось через книгу
И придавало тексту новый смысл.
Казалось, этот ветер, что по листьям
Прошел, играя тенью на лице,
Свободно входит в образы и мысли,
Дает им направление и цель.
Ушла, белея блузкой за кустами,
Исчезла в доме, промелькнув в окне,
Лишь дерево упавшее осталось
Да книга, позабытая на пне.

1957

ГОТИЧЕСКИЙ ГОРОД

Бродит луна в готических крышах,
Кошка по карнизу скользит, как тень,
Собор темнеет. Склонился в нише
Каменный рыцарь на каменную постель.
Готический город. Здесь похоронен
Какой-то король и какой-то граф,
Сияет застывшее море кровель,
Сияют стекла, свет луны разобрав.
Застывшее в камне средневековье
Живет и дышит на гребнях крыш.
Не верь перинам. Не верь покою
Сапожных лавок и соборных ниш.
Дышит орган. Он плетет простую,
Старую мелодию, он ведет диалог.
Слышишь, как робкая душа тоскует,
Как бьется и плачет и не находит слов?
Помнишь, жила за углом и после
Бросилась в реку с крутых перил,
А отец сапожник судачил с гостем,
Пиво отхлебывал и трубку курил.
Помнишь ее на рынке с корзиной
На узеньком локте в коротком рукаве,
Густым золотистым солнцем сквозили
Легкие пряди на светлой голове.
Что тебе граф и король в соборе,
Скульптурных надгробий угловатая тень
В каждом лице — беспомощность горя,
Круглая корзина и сборки у локтей.

1957

ПОДАРИЛ ЧАШКУ

Войдешь, как лето легкая, как липа
Цветущая, и подойдешь к столу,
Навстречу чашка просияет ликом,
И солнечную переймет стрелу.
И будет в ветре отворенных окон
Дымиться кофе. Будут облака
Скользить по веткам, белые, как хлопок,
И будут влажны лепестки цветка.
Ты будешь пить, как эльфы в чащах пили,
Как пчелы тянут солнечный раствор,
Ты будешь пить из бабочкиных крыльев,
Прозрачно нанесенных на фарфор.

1959

НИКА САМОФРИКИЙСКАЯ

Крылатый мрамор, вставший рядом с вечностью,
Свободен, как движение кометы.
Полет души запечатлен, и плещется
Туника, развеваемая ветром.
Душа миров, развитие идеи,
Рожденье мысли, воплощенье планов,
Она крыло к созвездиям вознесет,
И ласково заглянет в океаны.
Среди планет и замыслов великих
Она царит уверенно легка.
В тени крыла Самофрикийской Ники
Летят миры и плещутся века.

1957

СТАРОСТЬ

Это не вечер, это — рассвет,
Утро, когда подводят итоги.
Горечи нет и скепсиса нет,
Только в росинках утро лесное.
Все повторится. Смотри, вмещай,
Но, повторившись, будет другое.
Дали откроются, жизнь в вещах
Сменится жизнью с космосом в Боге.
Слышишь, поет и свищет кустарник?
Листья бегут и тени скользят?
Может, это совсем не старость,
А первая юность идет назад?
Только прошедшая все проверки,
Только спокойнее и полней.
Утро ее уже не померкнет,
Солнце уже не зайдет над ней.
Только огромный опыт отмечен,
Опыт, накопленный на бегу.
И время уже не время, а вечность,
А старость уже на том берегу.

1958

ОСЕНЬ ЧЕРЕЗ БИНОКЛЬ

Мир слегка искажен
В отшлифованных стеклах бинокля,
В перламутровой дымке,
Смягчающей резкость лучей.
Холод клены обжег,
Красноватые листья засохли,
Золотые пластинки
Заброшены в каждую щель.
Золотисто шурша,
Осыпается хрусткий кустарник,
Осыпаются вязы
За триста шагов от меня.
В каждой ветке — душа,
В каждом хрусте и в каждом суставе
Открывается глазу
Работа осеннего дня.
Чуть горчит на губах
Острый привкус осеннего ветра.
Передвинув бинокль,
Отдохнешь на мансардном горбе.
Он сродни голубям,
Четко видным за полкилометра,
Севшим на водосток
И лепящимся к теплой трубе.
Клены мерзнут кряхтя,
Водоемы под утро застыли,
Воздух чист, как печать,
По аллеям шуршание ног.

Подкупает октябрь
Золотистой классичностью стиля.
Чем заменишь сейчас
Заменяющий крылья бинокль?
В доме пахнет дымком
От огня разгоревшейся печи,
И у окон во взгляде
Жемчужная муть и покой.
Вечер с книгой знаком,
И перу черновик обеспечен.
Осень пишет в тетради
Прохладной и легкой рукой.

1955

МОЯ ВЕРСИЯ

У Веры Мамонтовой — персики,
На стульях — солнечные пятна,
И Веры Мамонтовой сверстницы,
Как родственницы, нам понятны.
Листали пальцы монографию,
Листали жизнь с листвой и светом
И в первый раз учились брать ее
Глаза четырнадцатым летом.
Глаза, казалось, жили заново,
И женский облик отмечали.
Просторный сад разливом заняло,
Так проходил апрель вначале.
Капило дни весенним натиском,
И мне послушен был Толстой,
Свое письмо де-Губернатису
Он прерывал на запятой,
Чтоб ил, оставленный на яблонях,
Водой, отхлынувшей из сада,
Я видеть мог. Чтоб новоявленный
Клочок земли мне был на радость.
Я строил собственную версию,
И произвольно встали рядом
У Веры Мамонтовой персики,
Флоренция и Рим за садом.

1959

СТРОКА

Строка сильна пока внутри,
Она застенчива без меры,
Лишь только шлюзы отвори,
Строка в себя теряет веру.
Все кажется слова не те,
Еще чернила не просохли,
А уж поблекла на листе
Строка, беспомощно нахохлясь.

1956

РИСУНКИ

Это карандашные рисунки,
И штрихи на них помять боятся
Жизнь — они стесняются коснуться
Всех кругов ее и всех варьяций.
Целый сад в карандаше, и, чтобы
Ветки разрастались без помехи,
Карандаш садовую трущобу
Лишь наметил, лишь расставил вехи.
Карандаш у жизни настороже,
Карандаш рисунка, строчки, слова,
Ведь чем ближе образ, чем дороже,
Тем он легче будет переломан.

1956

У ОГНЯ

К камину села, подогнув колени,
И пристально смотрела на огонь.
Такая маленькая по сравненью
С огромной тенью, согнутой дугой.
Каминный уголь светлой дрожью метит
Ее глаза, а золотая прядь
С огнем сосновым соревнуясь в цвете,
Летает, гребешку не покорясь.
Камин горит и синим дымом курит,
Летят и тухнут искорки, звеня —
Ей быть бы по повадкам и фигуре
Сестренкой шустрой этого огня.
Она вся в штрихе, который утрачен,
Как только подмечен, и тотчас стерт,
Едва зарисован. Она — задача,
Которая с каждым шагом растет.
Она сидит, и двигаются тени.
Сидит перед пылающей сосной.
Такая маленькая по сравненью
С моим огромным чувством за спиной.

1957

ЯБЛОЧНОЕ ВИНО

Осенним солнцем кислый сок разбавлен
Тяжелых яблок и душистых яблонь.
Прохладой тянет, и подходит осень,
На лес сквозное золото набросив;
И возвещает об ушедшем лете
Град паданцев и иней на рассвете.
Лови, держи! Готовь чаны и бочки
Для спелых яблок, горьковато-сочных.
Залей водой и, мирно почивая,
Оставь стоять под лестницей в чулане.
Придет зима, до дна застынет омут,
И будешь ты дрова колоть за домом,
Снег сбрасывать лопатой с плоской крыши,
Писать стихи и пропадать на лыжах,
Тревожить наст сосновых зимних просек.
А вечером, вернувшись при огне,
Найдешь в бокале солнечную осень
В слегка игристом яблочном вине.

1957

ОСЕНЬ

Зябко ржали лошади в загоне,
На ветру подергивали кожей,
Брали хлеб с протянутых ладоней
У шуршащих листьями прохожих.
Терлись об устои загородки,
Падал лист на выгнутые спины,
И смотрели утомленно-кротко
Безразличным взглядом лошадиным.
Целый день во власти листопада
Шелестел кленовый сумрак просек;
В помутневших лошадиных взглядах
Отразилась пасмурная осень.

1948

*
*   *

Густой кустарник в первозданной силе
Растет по склону, путается сучьями,
Смолистый ветер от лесных массивов,
Старинный город на речной излучине.
Схоластика соборной колокольни
Над лесом и оврагами плыла,
Смотреть вдоль улиц глазу было больно,
От отблесков вечернего стекла.
Я из оврага колокольню слышал
Сквозь лапы сосен и кусты орешника,
Закат видал на черепичных крышах,
На мостовых, на вязах, на скворешниках.
Я на озерах занимался греблей,
Где тонет солнце в ласковом стекле,
Знал наизусть соседние деревни,
Ходил по ним, как по своей земле.
И мне ли отделять себя от этих
Церковных хроник, записей, синодиков,
И мне ли отказаться от столетий
Труда, молитвы, подвига и готики.
Еще в оврагах шли кабаньи тропы,
И граф в оленя всаживал копье,
Еще менялись контуры Европы,
А я уж знал, что это все мое.

1956

ОСЕНЬ

Осень наземь листьями упала,
Встрепенулась желтоперой птицей.
Я иду по улицам с вокзала
Взбодренной от холода столицы.
В октябре сильнее руки стынут,
Но зато ясней и чище мысли.
Я смотрю, как следом за машиной
Улетают сморщенные листья.
Голуби тяжелые взлетают
На седом готическом портале,
И так звонко прохают трамваи
В переулках у Фельдхерренхалле.
Осень бьет прохожих ярким светом
Обдает веселым звоном улиц,
Как на миг не сделаться поэтом,
Если силы новые проснулись.
Осень наземь листьями упала,
Встрепенулась желтоперой птицей.
Покупаю свежие журналы
С холодком осенним на страницах.

1949

НА ПАРОХОДЕ

Часть палубы застеклена,
У борта — влажные канаты,
Со всхлипом бухает волна
В слезящийся иллюминатор.
Накатывает и кривит,
И опадает постепенно,
И брызжет корабельный винт
Зеленовато-белой пеной.
Полы сверкают белизной,
Перила — блеском меди теплой,
И солнце, брызгая с волной,
Стекает каплями по стеклам.
И у матроса прикурив,
Под ветром, спорящим с рекою,
Стоит девчонка у перил
В фуражке флотского покроя.
Докуривает и, блеснув
Зубами, сплевывает в воду,
В зеленоватую косу,
Бегущую за пароходом.
На ней рубаха из холста,
Штаны рабочие в обтяжку,
И остры, как удар хлыста,
Глаза под козырьком фуражки.
Нахально, презирая всех,
Цинично выставляя грубость,
Она прищурилась на свет,
Слегка облизывая губы.

И эта близость глаз и щек,
И эти треснутые губы
С фуражкой флотской — невтерпеж
Черноволосому парнюге.
Он угреват и желтолиц,
С глазами мутными, как тина;
Его глаза скользнули вниз
К тупым концам ее ботинок.
Пьянея от избытка сил,
Дурея от тоски и страха,
Он потянулся и схватил
Ее холщевую рубаху.
Вздувается горячий холст,
И так мучителен и ярок
Фуражкой затемненный вкось
Горячий блеск ее загара.
Но, передернувшись с концов,
Сухие губы исказились —
Она, в ответ, ему в лицо
Плюет жевательной резиной.
И смотрит снизу вверх, как он
Неповоротливо и кротко
Нечистым носовым платком
Слюну стирает с подбородка.
А за бортом шумит игра
Воды, на палубах танцуют,
Проходят мимо катера,
Винтами воду полосуя.
1956

ПИСЬМО ИЗ РАВЕННЫ

«Равенна, двадцатого мая.
Всех впечатлений не передашь,
Комнату в пансионе снимаю,
Простите за слепой карандаш.
Погода прохладная. После Рима
Все простужаются и чихают.
Жизнь фантастически неповторима,
Тетради исписываю стихами».

Пролетки за окнами проезжали,
Весенняя дымка к морю звала,
И небо через листву отражалось
На солнечной полировке стола.
И в солнечных зайчиках, в бликах этих
Бессмертье обещано наверняка,
Обещана жизнь в золотистом свете,
Юность, продолженная в века.
Крыши сквозь дымку позолотились,
Синим отсвечивает потолок,
И ветер откуда-то из Византии
Доносит разговор куполов.
Готы ломают Рим. Теодорих
Рвется к Равенне, шпоря коня,
Девы мозаик в гулком соборе
Шествуют, головы наклоня.
Вторглись в пределы владений спорных
Варвары. Врезался конский храп,
Копья, копыта, медные шпоры,
Полчища. Ветер. Полчища. Прах.

И все это здесь, и все это рядом,
И, кажется, будет копьем задет
Верхний жилец с блуждающим взглядом,
Приехавший на неделю студент.
И все это вместе — весна в Равенне,
Первая без опеки весна,
Весна кипарисов, склепов, ступеней,
Страниц неоконченного письма.

Голуби из-под ног взлетали,
Вспархивали на крыши, треща,
У паперти церкви Сан Витале
Были туристы в светлых плащах.
В эту дверь вступаешь, как в вечность,
В эту дверь вступаешь, как в склеп,
Камень древностью обесцвечен,
От потемок камень ослеп.
Дверь захлопнул — как в воду канул,
Наверху сомкнулась волна,
Здесь встречаешь Юстиниана
За колонной возле окна.
Только где-то очень далеко,
Через стены, сквозь строй веков,
Слышен улиц весенний клекот,
Набегающий гул подков.
От шагов просыпался камень
Из конца в конец к алтарю,
Бил янтарь по оконной раме,
Пропуская в купол зарю.

Небо шло в просветах оконниц,
Фреска разламывалась в порошок,
Девушка, прижавшись к колонне,
Чертила в блокноте карандашом.
«Господи, это она, в читальне
Виденная в последний раз . . .»
Он пошел по приделам дальним,
Не спуская с фигуры глаз.
«Плиты... Неважно... Чем откровенней...
Ударом тока расплавлен наружный пл
Встретить ее, сейчас, в Равенне,
В Сан Витале, с глазу на глаз...»
Камни хрустящей пылью покрыты,
Сырость на фреске ниши стенной...
Он подошел вплотную по плитам
И встал не дыша за ее спиной.
Легким хотелось неба и воли,
Ветра хотелось. Шли года.
Он перевел дыхание. «Оля!
Вот уж не думал, не гадал».
Дрогнули плечи. Легкая нота
В солнечный купол понеслась,
Она опустила руку с блокнотом,
Морем плеснулась сила глаз.
Если улыбается фреска
И заговорила мозаика,
И от крылатого плеска
Ангелов купола разверзаются,
То и тогда в надмирных высотах
Не верят, не радуются сильней,

Чем он — голубой обложке блокнота
И одиночеству церкви — с ней.
Руки ее немного узки,
Античное что-то есть в лице...
Туристы какие-то по-французки
Переговаривались в дальнем конце.
Потом он спросил, рукой беспричинно
Волосы висков щевеля,
«Ты мое письмо получила?
То письмо, в конце февраля».
Глаза посмотрели из Фаюма,
Как на защиту взвилась рука.
Она сказала почти угрюмо:
«Не надо... Не будем о нем... пока».
Это письмо, вернее записка,
Признание ей во вся и всем,
Было как бомба, было как искра,
Было последним, было как сон.
Но это была весна Равенны,
Умная это была весна,
Все принимающая мгновенно
За дополнение к тексту письма.
Они говорили. Из Сан Витале
Они выходили налегке,
Они в базиликах древних витали,
Вино покупали на уголке.
Они говорили. Они смеялись,
Читая латинские письмена...
Бежали часы. Тени сменялись,
В Равенне была большая весна.

Дверь в пансион скрипела, как скрипка,
Лестница хромала, как бес,
Ночью к письму прибавил пост-скриптум
«Здесь, между прочим, Оля С.
Вчера из Палермо. Мила донельзя,
До помрачительности мила.
На колокольне мы были вместе,
И оборвали колокола».

Листья охвачены влажным блеском,
Капля дождя на ветке дрожит,
И оживают статуи. Фрески
Преображаются в плоть и жизнь.
«Письмо мы дописываем вместе,
Ветер и свет в него внесены.
Пусть оно будет вехой и вестью
Первой свободы, первой весны.
Оно — как дневник. Как кадры поездок,
Как память о веснах вьюжной зимой...
Письмо отправлять уже бесполезно —
Через Болонью едем домой.
Камень и фрески Сан Витале,
Душа из Фаюма, грань в судьбе,
Ясно-золотистые дали,
Письмо из Равенны самим себе».

1958

ОГЛАВЛЕНИЕ